

ПЛАВИ АПОКАЛИПСИСА. РАСКРЫТИЕ СОКРОВЕННОГО

/Иконе Русского музея Святые Иоанн Богослов и Прохор/



Не так давно встретился снова с этим издавна и неизменно любимым, задушевно близким образом. Встретил его теперь одетым в защитный стеклянный короб, как бы отделённым от близкого общения «с глазу на глаз». И как всегда - нахлынула радость, как от встречи со старинным другом, очень дорогим и близким человеком, разлучённым с тобой на многие годы. Радость и досада, что не увидеться теперь, как бывало прежде: непосредственно, близко, интимно и доверительно. Будто в узилище старый друг. В темнице, заботливой о его здоровье, но говорит оттуда так же ясно и чисто, как прежде. Как всегда? этак с века XVI? Славного века торжественного восхождения в силу, величие

и самосознание молодого и крепнущего Московского царства, получившего в наследие себе и преемственность - Византию. Царство, отринувшее иго и возрастающее в величественный Третий Рим.

Помнится, годами не оставлял этот образ в покое, никогда с первого взгляда – в безразличии, исподволь напоминал о себе, звал. И я, отзываясь, спешил снова и снова в Русский, не заходя в иные залы, кроме залов икон. И, грешным делом, случалось так, что иные образы первых трёх залов открывались мне прекрасным предварением, преутовлением даже, обрамлением – этого образа. Всегда не оставляло ощущение, будто дочитываешь Новый Завет, завершающийся, нет, совершающийся ныне здесь, прямо передо мной – дивным апокалипсисом – раскрытием сокровенной тайны, тайны явственного знания о мире Божиим.

Однажды прочёл страшное об истории этой иконы, выпиленной для продажи на антикварном рынке из Царских врат московского храма. В сознании ли, в душе – прочтённое отозвалось болезненным отзвуком свидетельства о явственном о-зверении человеком. Не столь уж важно, когда произошло это – в конце ли века XIX, в начале XX века. В самом разрушении врат Царских, вмещавших художественное, историческое и духовное сокровище видится крайнее падение и измельчание, и истончение образа Божиего в человеке и в самой стране, одаренных бесценно и несметно. Отступничеству этому должно было положить предел волею и возмездием промысла Божиего. И не замедлил Он. То, что должен был сделать – сотворил скоро. Искалеченные Царские врата, как Русь изувеченная и осквернённая, - взывали о вразумлении и прощении сына блудного, склоняющегося к рожкам свиным. И вот ныне – обретён и вознесён этот образ апокалипсиса - откровения и торжества красоты, правды Божией. Пусть и в защитном ящике – киоте, пусть и в красном, неслужебном углу – Русского музея.

Прежде очень любил совсем близко рассматривать этот образ, эти плави – краски, нанесённые пигментом, очень разбавленным эмульсией (желтка с водой). Цвет едва насыщенной (тонкой) плави, оставался полу - прозрачным, пропуская сквозь себя свечение белоснежного мелового левкаса (грунта иконной доски). Плави одежд, фонов, лесчаток – гор с лесенками – лестовками (*) восхождения духовного, осиянного светом, - слегка укрывались в два – три красочных слоя. Каждый из последующих слоёв чуть сгущался, уплотнялся цветом, укрывистостью - насыщенностью красочного пигмента, но оставаясь полупрозрачным, неизменно нёс в себе медленное свечение из глубин иконного грунта, белого, как свет. Так, весь образ буквально плавает, парит невесомо в этом свечении изнутри.

- Важным видится заметить здесь, что и чётки, меч духовный воина Христова в монашестве, да и в міру, – с благодарностью, нежно и ласково именуются так же – лестовка. Видимо, не без воспоминания и о пространстве раскрыши иконной, и о Лествице Иоанна, игумена горы Синайской, и о сокровенном делании молитвы Иисусовой, возводящей по лестнице восхождения.

Гармония, совершенство иконной композиции и завораживают, и восхищают. Множество иных изводов этого образа совсем не отложилось в памяти. Но здесь... В этой иконе всё необычайно просто и красноречиво настолько, что в пору умолкнуть, легко и

непринуждённо (по мановению ли чутких крыл? по вдохновению ли автора иконы, запечатлённому здесь?) постигая сокровищницу раскрыши цвета, образа, обретаемых смыслов. В иконе нет совершенно ничего второстепенного, поясняющего, дополняющего, помогающего нечто постичь. Нет ничего вторичного, заполняющего пустоты незаполненного пространства, того, что люди искусства обычно именуют по-немецки - стаффажем. Образ сам открывает себя в своей чистоте предельно. И откровение это – о красоте и гармонии мира Божиего. Рядом с этим образом уже не остаётся сомнений и проклятых вопросов о допустимости, сущностной правомочности, чуть ли ни торжестве видимого и самобытного – зла. В являющемся тут откровении видится богословски и личностно осознанный автором – иконописцем, принятый и выраженный совершенно ясно – гимн о торжестве, праве существования и истинного бытия – красоты. Красоты, мир спасающей, мир оправдывающей, мир вос-полняющий до величия Любви Божией. Красоты, незримо восстающей, как бы из небытия. Красоты, великолепно царствующей - над миром видимым. Красоты, вникающей извне в мир явственно, осязаемо, уверительно – с откровением Иоанновым, как торжество правды Божией и неизъяснимой благодати промысла Его о творении Своём. Так ли виделось Иоанну в многословии запечатлённых смыслов явленного ему Писания? Так ли виделось автору иконописцу, запечатлевшему в простоте и лаконичной сдержанности раскрыши – экзегезу образа? Но я, грешный, ловил себя на ощущении, что предстоял тут, как Фома, вложением любопытных чувств своих уверяемый – в конечном и неотвратимом торжестве Славы Божией.

Невоздержанно рассматривал соцветие горок – осиянного благовестием мира – Патмоса. Гармония плавей сероватого отлива, охристо-золотого, лёгкого воздушно-киноварного. Лесчатки горок чуть тронуты плавью едва активных белильных пробелов – отсветов осеняющей благодати. Горочки, точно букет, раскрывшийся к благодати, преподнесённый Богови и осиянный Им. В недрах лесчаток и вокруг Прохора оттеняющая нимб его – темь. И пещеры, - нет не пещеры проникновения в горнило адово – нет ему места в иконном пространстве, - здесь та тьма, от которой в образе Пятидесятницы явлен будет Космос – Царь, благоукрашивающий, благоустраивающий хаос. Мир, принявший смотрение о себе и присутствие в себе Бога. Вместе с тем, вполне в угоду эстетике, это тёмное пятно входа и проникновения в темь, вполне уравнивает ясную верхнюю – правую часть иконы с более плотной нижней – левой частью, которая, в свою очередь, высветлена царственным тронном Иоанна, расцветенным ассистом.

Совершенно явно икона как бы рассечена по диагонали на две части. Линия разделения энергично и дерзновенно намечена символами энергии благодатных явлений от мандорлы, если только продолжить их мысленно. Так намечается, артикулируется и привносится в образ некое напряжение и взаимное движение благо-датной и благо-приятной страстности. Можно бы сказать, что этот образ явления апокалипсиса – великий и радостный гимн миро-видения (миро - воззрения) и Бого-словия катафатического, утверждающего опытное личное знание о Боге в видимых, чувствуемых проявлениях Его. Гимн радости познания Бога, раскрывающего Себя в проявляющихся энергиях, в чуде откровения явленного, осязаемого, зримого, восчувствованного, влекущего. Мир, являемый этим образом, исполнен утверждением неотступного присутствия Божиего в мире, где пред-стоящий образу человек не оказывается необратимо внешним, но обретает

окно вхождения и реального присутствия, во-ображения, как во-церковления, воссоединения с Являемым.

Жест Иоанна, принимающий Откровение в композиционном решении иконы – как бы объёмлет некую объёмную сферу, невидимую вне жеста, являемую – жестом и положением самой фигуры апостола. Сфера жеста – раскрытых рук осязаемо образует этот объём в пространстве образа, включает в себя предстоящего, делает его соучастником происходящего, сопричастным являемому. Вместе с тем, жест Иоанна – приемлет символы трёх-частного начертания смыслов, устремлённых от приоткрывшейся мандорлы к устам Иоанновым, сомкнутым и внемлющим. Иоанн лишь приемлет и не диктует ничего Прохору. В жесте же – несколько приопущенное - возношение рук Моисея, где он предстоит Богу в сражении с амаликитянами, предстоит, воздев руки, и моля о помощи Божией, и приемля эту помощь, благоволение Господнее о победе над воинством Амалика. Тут и воспоминание о нерушимой стене Оранты и образах Знамения, и образе литургисающего у Престола священника, возглашающего «горе имеем сердца...». Руки в жесте иоанновом чуть приопущены – в предстоянии Моисеевом это означало временное одоление воинов Израиля врагом, противником Божиим. Но чуть опущенные руки несколько развёрнуты и направлены к нам, привнося одолеваемым дарованное, открытое, явленное - одаривая им. И внемлем, замирая в изумлении. И совсем рядом – записывает нечто – Прохор.

Удивительна и удивлена фигура и поза Богослова – удлинённая, возвышенная и формой своею будто повторяющая очертания процветших горок – лещаток вокруг. Или же это сами горы – изменили очертания свои в присутствии Иоанна в миг великого Откровения ему и миру? Едва ли важно это. Важнее гармония статичной динамики раскрытия Неизобразимого. Простите за абсурдное, но *credo quia absurdum est*. Ещё немного о позе фигуры Богослова. Он ведь не сидит на приуготовленном ему сияющем царственном седалище, но сам, будто вписан в пространственную невидимую сферу, наполняющую, охватывающую и образ, и нас перед ним. Иоанн касается земли у трона царственного откровения (даже не земли, но книги ли? престола неведомого? покрова на просиявшей тверди?) – только левой своей стопой. Стопа правая будто вынесена совершенно в пространство иное (в объём сферы?) и очерчена прорисью – в нём. И вся фигура Иоанна даже для осенённого благодатью мира – невесома, не отягощена гравитацией и тяготением земным – в приятии Откровения - не-от-мира.

И ещё об одном удивлении. Дивны дела Господни, явленные нам в самом несовершенстве и утратах. Каков был образ прежде – не ведомо нам доподлинно. Но можно угадывать золото фона небесного в остатках утраченной сусали. Источённое, полустёртое, почти исчезнувшее теперь золото фона - не привносит нам ощущения незамутнённого торжества теофании. Но являет дивное притенённое, будто прикрытое тонкой белильной плавью – мерцание, скрывающее чуть пригашенное, притворенное – царственное свечение. На некотором расстоянии и не разобрать даже: это ли сусаль истёршаяся на левкасе, белила ли тонкие, скрывающие затаившееся, невидимое теперь золото фона. Так является браз нам, как пожелала явиться благодать откровения – нынче.

Вот и не уйти. Не осмыслить. Не вместить. Не нарадоваться приоткрывшемуся на миг.

ОБРАЗУ ИОАННА

Будто бы обнимая сферу-ноо,
С небом соизмеря свои глубины,
Он – восходил из видимого земного
И был – любимым.

Он - воспарял над горками и природой
В золото, замерцавшее от левкаса.
Где-то истаивали века и роды.
И гасли гласы.

Он – принимал, как должное, - откровенье
О красоте живой, без конца, без края.
И, замерев, забрезживало мгновенье,
Кругом играя.

Он – осязал и видел цвета и море,
И мертвецов, исшедших из волн на волю...
И – прозревал – исчерпанной бездну горя
И бездну боли.

Он – упрощался так, что лучился будто.
Он – замирал, приятельцем – иного...
Так, долгожданное, - восходило утро,
Впуская Слово.

ОКРУЖЁН ЛЕЩАТКАМИ

Окружён лещатками облаков,
Осенённых заревом предзакатным,
Я шагал бы дерзко по ним куда-то
Провожать Светило... и был таков.

Расставаться с пропастями земли
И куда приятней, куда важнее, -
Подниматься легко над нею, -
Облака послушного им - несли.

И, вдыхая закат, как шар
Наполняясь теплом и светом,
Я б зазоривался планетой
Никуда – совсем – не спеша.

В обступающей темноте
Мириады подобных мне ли?
Как же сладостно, ясно – пели
Сопричастные Красоте...

Но, в земном притяжении,
У подножия светлых лестниц,
Лишь грустить на поблекший месяц
И молчать в утешении.